Изложенные соображения побуждают с должным вниманием отнестись к аргументации Р. Мартина, исследовавшего матримониальную политику русского царского и императорского дворов на протяжении XVI–XVIII вв. Вывод американского русиста об однородности брачной политики этого времени позволил ему охарактеризовать три столетия, с 1505 по 1797 г., как период «раннего Нового времени»[78]. Полагаю, что 1505 г. как дата смены монарха на троне не может служить границей эпох, но сам период первой половины XVI в., несомненно, демонстрирует новые черты в организации государственной и общественной жизни. Во всяком случае, проведённое мною исследование реформ в России убеждает в том, что начало этого периода следует отнести к середине XVI в., когда в недрах государственных институтов зародилась идеология исправления практики властвования и стали осуществляться первые преобразования.

Сказанное не означает, что до середины XVI в. реформы на Руси не проводились. В частности, республиканские институты Новгорода могут служить поучительным примером эффективности взаимодействия общества и государства: именно в Новгороде была осуществлена первая в истории Руси полноценная политическая реформа – преобразование посадничества по инициативе Онцифора Лукинича в 1350/51 г.[79] Однако практика реформирования властных институтов в вечевых республиках резко отличалась как от синхронной ей системы властвования в княжествах Северо-Восточной Руси, так и от позднейших практик, принятых в едином государстве, и нуждается в специальном исследовании.

---

[78] *Martin R* The Petrine Divide and the Periodization of Early Modern Russian History // Slavic Review. 2010. № 2. P. 410–425.

[79] *Янин В.Л.* Очерки истории средневекового Новгорода. М., 2008. С. 222–234.

Земля, крестьянин и воля: Русский Север XVII века (О новой монографии Е.Н. Швейковской)

Ольга Новохатко

В последние два-три десятка лет в российской историографии изучение истории крестьянства явно отодвинулось на второй план в сравнении с изучением истории государственного аппарата, властных структур, особенно их высших слоёв. Отчасти это вполне объяснимо – в советский период «производительным силам» с их «производственными отношениями» было уделено чрезмерное внимание, накопилась некоторая усталость от темы. Однако и в советское время, и сейчас было ясно, что история русского крестьянства весьма далека от понимания, что в изучении этой темы остаётся ещё очень много лакун. При этом проявляется имевшаяся и ранее негативная особенность отечественной историографии, по крайней мере, что касается Средневековья и Нового времени – это разрыв в изучении государственных структур, с одной стороны, и жизни крестьян и посада – с другой, которые как будто существуют сами по себе, практически не взаимодействуя, не соприкасаясь друг с другом. Точнее

© 2014 г. О.В. Новохатко

сказать, рассматривались в основном только случаи их противостояния – в усилении налогового бремени, в городских восстаниях и крестьянских войнах.

Конечно, много фактов для осмысления и переосмысления проблем истории «народных масс» предоставили новые, опубликованные за последние годы источники. Но в первую очередь, если можно так сказать, недоосвоенность истории крестьянства происходит от специфики подхода к изучению указанной темы, т.е. от вопросов, задаваемых источникам, как давно известным, так и только что введённым в научный оборот.

В этом отношении совершенно новое, свежее и яркое явление представляет собой книга Е.Н. Швейковской[1]. Главное отличие данной работы от многих предыдущих, посвящённых той же проблеме, – это именно взгляд на исследуемый объект с новой точки зрения. Здесь мы видим, как земский мир жил в государстве – не как должен был бы жить по-писанному, а жил реально, каждый день, каждым крестьянином из глухой северной деревни. Собственно, об этом говорит автор во «Введении»: «Предпринимаемое исследование диктует свои требования к источниковой информации, которая добывается не путём увеличения её количества, а за счёт качественно иного, чем это практиковалось в историографии ранее, набора задаваемых источникам вопросов» (с. 11).

Работа построена по принципу расходящихся концентрических кругов. За центральную, отправную точку принята крестьянская семья с её местом обитания – двором, от которой нити взаимоотношений протягиваются сначала к ближайшему окружению – родственникам и соседям по деревне, затем шире – к волости, уезду, уездному городу с их мирскими и государственными административными структурами.

На страницах книги, практически как в документальном фильме, предстаёт реальная каждодневная жизнь русского крестьянина. При этом Е.Н. Швейковская не стремится ни к скрупулёзному бытописанию, ни к широким статистическим обобщениям. Всё её внимание уделено тончайшим, подчас едва уловимым механизмам жизнедеятельности семьи, родственной группы, общинных миров разных уровней, связям как внутри этих социумов, так и между ними (например, между семьёй и родственниками, семьёй и деревней, деревней и волостным или уездным миром, миром и воеводой и т.п.). Такой подход к теме оказался чрезвычайно плодотворным.

Прежде всего автору удалось, на мой взгляд, разрешить вопрос о величине, составе крестьянской семьи XVI – начала XVIII в. – была ли она малой (индивидуальной, нуклеарной) или большой (сложной, неразделённой, разветвлённого состава). Е.Н. Швейковская убедительно, на богатом источниковом материале показала, что крестьянская семья той эпохи (как, впрочем, любой другой), подчиняясь неумолимым законам как социальной психологии, так и экономики, постоянно «пульсировала» между индивидуализмом малой семьи, стремлением жить в разделе с родственниками – и необходимостью в тяжёлых жизненных условиях сплачиваться, объединять людские и материальные ресурсы рода.

Как на киноплёнке, перед читателем проходят этапы освоения крестьянами северорусских земель: медленное продвижение отдельных семей среди необъятных лесов, болот, вдоль рек и речушек, наступление на лес и прибрежные земли, отступление из-за их размыва половодьем и тяжести обработки неплодородных почв, затем вновь освоение покинутых участков. И результат – мно-

[1] *Швейковская Е.Н.* Русский крестьянин в доме и мире: северная деревня конца XVI – начала XVIII века. М.: Индрик, 2012. 368 с.

жество полос земли разной степени освоенности, многочисленные постройки крестьянских дворов, жилые и хозяйственные. Недаром в поземельных сделках крестьян с такой тщательностью и, как кажется, гордостью перечислены избы, клети, овины, сенницы, житницы, обязательно – бани, а также прочая недвижимость – свидетельство огромного вложенного труда, терпения, опыта, знаний и – успеха.

Представленные Е.Н. Швейковской материалы показывают, что многие хозяйственные постройки (кроме перечисленных выше также колодцы, мельницы и даже часовни) в деревне находились в совместной собственности родственников и соседей (с. 166, 167, 171, 174, 175). В условиях Русского Севера возможность окультурить земли, раскинувшиеся на сотни километров непроходимых лесов, выжить в суровых природных условиях основывалась только на совместном труде, на взаимопомощи; стремление к индивидуализму здесь было трудно осуществимо. В то же время бесчисленные починки, выселки, отделения взрослых детей от родителей и разделы братьев свидетельствуют о неуклонном стремлении к обособленности. Можно сказать, что природа, сдерживая частнособственнические устремления, постоянно удерживала баланс между общинным и частным векторами в жизни крестьян.

Что касается трудных времён, то сложно представить себе что-либо производящее на читателя большее воздействие, чем анализ влияния петровских мобилизаций в армию и в строящийся Санкт-Петербург на демографию крестьянства Русского Севера. Разумеется, приборы крестьян в стрельцы и в солдаты происходили и ранее, однако воздействие их на состав крестьянских семей «было качественно иным, нежели при рекрутских наборах первой четверти XVIII в.» (с. 56), что объяснялось масштабами, а также частотой последних. В допетровской России власть не ставила перед страной столь непосильных для неё внешнеполитических задач и осознавала, что перенапряжение народных сил может привести к их истощению и к разорению государственной казны. Воеводам, производившим набор стрельцов или солдат в уездах, разъяснялось, что новобранцев следует «имати от семьянистых людей», «чтоб у тех людей, у которых взяты будут в стрельцы, жеребьи их пашни в пусте не были бы». Петровские же неограниченные мобилизации в армию и на строительство новой столицы привели к существенному воздействию на структуру и численность крестьянских семей и, таким образом, на демографию в целом. Из семей изымали самых трудоспособных членов – мужчин, причём общины и землевладельцы старались отдавать неженатых, что, естественно, сказывалось на будущей демографической ситуации. Однако нередко мобилизовали и женатых мужчин, без которых женщины и дети, не имея сил прокормиться, покидали общину, «скитались в мире» и зачастую умирали (с. 88). Отмеченное исследователями изменение в структуре крестьянской семьи в начале XVIII в. в сторону усложнения и увеличения её состава за счёт неразделённости родительских и братских семей являлось ответной реакцией крестьян на ослабление хозяйственного потенциала семьи в результате мобилизаций.

Е.Н. Швейковская впервые установила, что в публично-правовом актовом материале XVI–XVII вв. (в отличие от повседневного бытования) отсутствует термин «семья». При необходимости зафиксировать сведения о крестьянской семье составители актов перечисляли членов семьи, называя степени родства между ними (отец, мать, сын, дочь, зять, брат и т.п.). Такой дифференцированный подход в восприятии семьи указывает на то, что принадлежность к

роду в целом, «племени» как непрерывной череде поколений (с указанием места каждого члена в этом роду), пусть только в данный, фиксируемый момент его существования, представлялась и государственным чиновникам, и крестьянам (возможно, на не рефлексируемом уровне) более значимой, чем принадлежность к малой, дробной, временной части рода – семье, упоминать которую уместно лишь в обыденной жизни (с. 98, 99). Следует, очевидно, иметь в виду и то, что слово это появилось в древнерусском языке, по историко-лингвистическим масштабам, не так давно от изучаемого времени, в XI–XII вв. и означало в первую очередь «челядь, рабов, домочадцев», т.е. зависимых членов рода[2].

Надо сказать, что неподготовленного читателя изучение книги Е.Н. Швейковской может, наверное, озадачить и даже привести в некоторое смятение. Крестьяне владеют деревнями, воспринимают деревни как свою собственность. Например, крестьянин заложил деревню «свою Павлищево... отца своего благословение»; вообще, «своя деревня» – типичный для крестьянских актов оборот. Крестьяне продают и покупают деревни, называют своей вотчиной: «та деревня... вотчина наша, деда и отца моего», «наша вотчина» (с. 97, 98, 100, 103, 109, 113, 192). Понятно, что такое положение дел объясняется спецификой Русского Севера, где большинство крестьян были черносошными, лично свободными. И хотя земля находилась в собственности государя, деревни действительно принадлежали крестьянам – они могли практически неограниченно ими распоряжаться: продавать, покупать, закладывать, передавать по наследству. И, разумеется, в высшем смысле именно крестьяне были истинными собственниками этих деревень – они их создавали тяжким трудом, поколение за поколением, полосу за полосой. Ведь слово «деревня» происходит от того же корня, что и слово «драть»; старшее его значение (с XIV в.) – это «земля, очищенная под пашню от зарослей, с выдранным лесом»[3]. Интересно отметить, что слово «деревня», обозначающее поселение – только русское понятие (в других славянских языках отсутствует), а также, что вплоть до XIX в. деревней называли поле, полосу, пашню или пустошь именно на Русском Севере, в Архангельской и Вологодской губерниях[4].

Тем не менее картина, представленная автором, производит впечатление и на специалиста. Недаром Е.Н. Швейковская построила своё исследование на анализе межличностных отношений, судеб отдельных крестьян или истории крестьянских семей. Из приведённых документов вырисовывается образ русского крестьянина, не изуродованного ни крепостным правом, ни разнообразными административными государственными экспериментами – человека с чувством собственного достоинства, самостоятельного, ответственного, трудолюбивого, умелого, предприимчивого, распорядительного хозяина, относящегося к обрабатываемой им земле как к родовой собственности и самой большой ценности в его жизни, и, главное, абсолютно самодостаточного. Нелишне отметить также грамотность значительного числа крестьян, на что указывают источники. Так, в 1597 г. два брата-тёзки Фёдор и «Федор же прозвище Сема Истомины дети Бобровского» совершили поземельную сделку, которую зафиксировал купчей грамотой «Федка Истомин сын Бобровского своею рукою», а удостоверил другой брат: «К сей купчей яз, Федорко, прозвище Сема деревню

---

[2] *Черных П.Я.* Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. II. М., 1993.
[3] Там же. Т. I. М., 1993. С. 242–243.
[4] *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I. М., 1978. С. 429.

з братом Федором большим продал со всем без вывода и с пожнями и руку приложил яз, Сема». В 1626 г. крестьянин Ф. Поспелов засвидетельствовал копию с купчей: «В отца своего место... руку приложил» (с. 99, 100). О культурном уровне северорусских крестьян и их социальном самосознании говорит и то, что документы на землю хранились в крестьянских «архивах» с незапамятных времён и в течение весьма долгого периода: к примеру, при писцовом описании 1622–1623 гг. крестьянами Нагибиными была предъявлена купчая на их землю от 1507 г. Грамотность являлась также необходимым условием занятия выборных земских должностей, а их было немало (с. 200, 204, 280).

Удивительно наблюдать, как северорусский крестьянин XVI–XVII вв., прикупая мелкими участками и долями деревни, неуклонно приумножает свои владения ровно с такой же одержимостью, как его современники – помещики и вотчинники[5]. Точно так же, как служилые по отечеству, крестьяне старались не выпустить наследственную землю из рода, используя иногда, опять же, как и помещики, не слишком честные средства. Е.Н. Швейковской удалось установить (для XVI – начала XVIII в.), что деревня находилась в собственности крестьянского рода, например, в течение 60 лет (четыре поколения), почти столетия (с 1539 по 1641 г., или с начала XVII в. до начала XVIII в.) и даже более (упомянутые выше крестьяне Нагибины осуществляли сделки на свою землю и в 1644 г., причём с родственниками, т.е. земля находилась в собственности рода почти полтора века), не говоря о сроках в 30–50 лет (с. 104–110, 112, 113, 187, 189, 192, 194, 195, 198, 204, 205, 215–220).

Вообще же, при сопоставлении обобщённых портретов служилого человека по отечеству и северорусского черносошного крестьянина той эпохи видится гораздо больше сходства, нежели различия, о чём свидетельствует и лексика крестьянских актов: выражение «наша вотчина» или, например, «продали есмя мы, Михайло з братьею, ту полдеревни отца своего», продали «полюбовно свою деревню, батюшка своего благословение», части деревни, «отца и деда благословение, по своей купчей и духовной деда» или «отца благословение по купчей и деда своего Угрюма» (с. 99, 100, 182, 193). О том же свидетельствует и номенклатура актов (купчая, данная, меновная, закладная, духовная). Ещё больше сходства крестьянским и дворянским поземельным актам придаёт то, что у крестьян в собственности были не только дворы и пахотные земли, но и многочисленные угодья: поля и пожни, леса, охотничьи «путики», речки, «летовищи, и с перевесьи, и с озеры... чем отец наш Лука владел по купчим грамотам, да чем и мы владели после отца своего»; земля «и с лесы, и с пожнями, и с путики, и с поскотиною», а также то, что в приданое крестьянки входила и земля с двором (с. 102, 126, 213). Характерна в этом отношении и ещё одна деталь: и в писцовых, и в поземельных актах имена крестьян, за редким исключением, фиксируются не только в полной форме, а не полуименем (Данила, а не Данилка, Петр, а не Петрушка и т.п., как это всегда делалось в отношении крепостных крестьян), но и «с отечеством» («Захарьины дети Онтонова», «Павловы дети Кузнецова», «Ларион Алфимов же сын Челпанов») (с. 97, 100, 108).

Интересно, что купля-продажа северорусскими крестьянами деревень активно происходила и в самые тягостные для России времена: в годы опричнины, в шаткий и тёмный период между опричниной и Смутой, во время Смуты

[5] Ср.: *Новосельский А.А.* Вотчинник и его хозяйство в XVII в. М.; Л., 1929.

и в тяжёлые десятилетия после неё. Так, например, с начала опричнины вплоть до конца царствования Ивана Грозного (когда и прекратилось деление российской территории на земщину и опричнину, или двор), в северорусских областях, которые и вошли прежде всего в состав опричнины, состоялись сделки: в 1567 г. купля-продажа крестьянами двух жеребьев деревни Топорова; в 1569 г. Иван Мартынов сын Бобылев дал долг своим однодеревенцам братьям Востриковым под заклад их деревни Чигры; в 1572 г. крестьянской семьёй была приобретена деревня Павлищево; в том же году Томилка Михайлов сын Шишкин купил деревню Беляшкино; в 1584 г. была продана часть деревни с дворовым комплексом (с. 150, 155, 187, 192, 215).

Накануне Смуты и во время неё крестьяне Русского Севера также не прекращали земельных операций. Так, в 1588 г. продал своё хозяйство крестьянин деревни Офонасовской; в 1592 г. была продана в деревне Микулино половина двора с постройками, половина бани, половина пашенных земель и пожен, половина речки Езовицы, половина прислонов, половина поскотины, охотничьих путиков и перевесей; в 1600 г. был продан девятый жеребий деревни Мериново с соответствующей частью хозяйственных построек. Случаи купли-продажи крестьянами земельных угодий зафиксированы в 1604–1607 гг. С 1607 по 1611 г. в материалах крестьянских поземельных актов отмечается некоторый перерыв, что неудивительно, поскольку в это время крестьяне и посадские то поддерживали Лжедмитрия II (как, например, жители Вологды, Тотьмы, Соли Галицкой, Галича и их уездов), то сами организовывали центры сопротивления интервентам (население перечисленных городов с их округами, а также Устюжны, Белоозера и др.); их жители (устюжане, вологодские, поморские и онежские крестьяне) стали основой северорусского ополчения (с. 102, 104, 150, 156–157, 159, 163, 171–172, 207).

Любопытно, что интерес к приобретению земель, т.е. возвращение к прежней, привычной, стабильной жизни, у северорусских крестьян возрождается с 1611 г., с созданием и успешной деятельностью Первого, затем Второго ополчений, а не ранее. Эту перемену в народных настроениях, в ситуации в стране, несмотря на очевидную незавершённость самой Смуты (Москва вновь в руках поляков, шведы разоряют северные города, а до избрания первого царя новой династии и перемирия с Польшей остаётся ещё несколько лет), очевидно, безошибочно ощутили жители Русского Севера. И уже в мае 1611 г., например, Андрей Михайлов сын Тютнева продал своему дяде «половину деревни своей Скорняковские»; в 1614 г. братья Рыбины продали «деревню свою две трети Созутинские земли» братьям Поповым; в 1615 г. Иван Ортемьев купил деревню Мякинница. С 1617 г. подобные случаи имели место ежегодно, и с каждым последующим годом число сделок росло (с. 103, 108, 115, 155–156, 182, 186, 191, 207). Этот своеобразный народный «маркёр», как мне кажется, стоит принимать во внимание при исторической оценке периодизации Смуты.

Не менее значима и вторая часть работы Е.Н. Швейковской, где исследуется роль крестьянина в земском мире. Крестьянское мирское самоуправление осуществлялось именно теми людьми, характерные черты которых выявлены в первых главах монографии. По оценке Я.Е. Водарского, на рубеже XVII–XVIII вв. в Европейской России численность правящей группы населения (феодалы и армия) составляла от 0.3 до 0.5 млн человек, крепостного крестьянства – от 3.4 до 4.7 млн, а феодально-зависимых от государства, т.е. черносошных – от 1.1 до 1.6 млн человек (на 1678 и 1719 гг., соответственно).

На одном только Севере и Северо-Востоке страны численность черносошных крестьян составляла более 250 тыс. человек[6]. Можно пойти несколько дальше в обобщениях и привести такие цифры: по подсчётам Н.Ф. Демидовой, в 1698 г. служащих центральных учреждений было 2 648 человек, местных – 1918; всего 4 680 человек; население же России к концу века составляло 15–16 млн человек[7], т.е. на одного чиновника приходилось чуть меньше 3.5 тыс. человек. Естественно, что эта гигантская масса населения как-то должна была контролироваться столь скудным государственным аппаратом: с населения следовало собирать налоги, прибирать людей в армию, для ямской службы и других государственных нужд. Ситуация неизмеримо осложнялась тем, что население это не было тесно скучено, как в европейских странах (даже в той же Скандинавии, близкой нам по климатическим условиям), и, значит, легко контролируемо, а было рассеяно по непроходимым, бездорожным просторам бескрайней страны. Единственным способом как для самих жителей, так и для государственных властей не утратить народного и административного единства, не дать развалиться государству на отдельные автономные части, было создание народного местного самоуправления, а для центральной власти – закрепление легитимности последнего и встраивание его в государственные структуры. Ситуация складывалась в некотором роде парадоксальная. Государство вовсе не было столь человеколюбивым и демократичным, а русский народ вовсе не обладал неким имманентным стремлением подчиниться хоть какой-нибудь власти, впасть в рабство, но обстоятельства, как внутренние (выживание в трудных природных условиях), так и внешние, толкали население к созданию органов мирского самоуправления, а власти были вынуждены до поры мириться и сотрудничать с ними.

Как же, почему и на каких принципах строилось это самоуправление, какими способами оно взаимодействовало с государственными структурами? Следует отметить, что на столь конкретные вопросы необходимо было найти столь же конкретные, фактически точные, не обтекаемые ответы, требующие проникновения в самые тонкие механизмы работы крестьянских мирских органов, улавливания ускользающих связей людей и их групп между собой в осуществлении управленческой деятельности. Эти механизмы и связи лежат в самой основе такого явления, как земский мир, и раскрыть их можно только на микроуровне, что с блеском и было выполнено Е.Н. Швейковской впервые в современной историографии.

Какими же предстают перед нами крестьянские миры, их главные, характерные черты? Во-первых, это жёсткая, чёткая вертикальная структура – от волостных миров, на которые собирались представители от гнёзд малодворных деревень, через всеуездные, которые составляли или выборные волостные власти, или специальные уполномоченные «посыльщики», или и те, и другие, к мирам какой-либо земли (к примеру, Вятской), или собственно земским мирам (с. 253).

Во-вторых, это абсолютная самоуправляемость крестьянских административных органов, на современный взгляд – высшая форма демократии. На всех уровнях дела решал сход – деревенский, волостной и т.д. Естественно, сущест-

---

[6] *Водарский Я.Е.* Население России в конце XVII – начале XVIII века. М., 1977. Таблицы 9, 44.

[7] *Демидова Н.Ф.* Служилая бюрократия в России XVII в. и её роль в формировании абсолютизма. М., 1987. С. 23, 31, 37; *Писарькова Л.Ф.* Государственное управление России с конца XVII до конца XVIII века. М., 2007. С. 47; *Водарский Я.Е.* Указ. соч.; *Миронов Б.Н.* Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). Т. 1. СПб., 2000.

вовал ценз – гендерный, социальный, в некотором отношении экономический. Правом на участие в сходе обладал крестьянин, владевший земельным участком в данной волости и плативший государственные и мирские налоги. Такие крестьяне решали насущные дела общины (и решение это было обязательным для всех её членов) и выбирали старосту, а также разного рода целовальников (по финансовым, земельным, тягловым делам), посыльщиков.

В-третьих. В современном понимании, определённом во многом художественными произведениями, мирской сход представляет собой род веча в худшем его воплощении – пришли все, кому ни лень или от скуки, горланят, дурачатся, орут. Возможно, что и сходы XVI–XVII вв. не были совсем уж свободны от таких проявлений. Однако документы, проанализированные Е.Н. Швейковской, представляют совсем другие собрания. Так, в ноябре 1638 г. на посадском сходе Сольвычегодска состоялось верстание тяглых земель. Сход составили «все» посадские «лучшие и середние и молодшие люди» во главе с четырьмя целовальниками. Но прежде чем приступить к процедуре развёрстки тягла, собрание сначала установило равные условия для участия в сходе посадских миров, постановив делегировать от каждого дворохозяйства только по одному человеку, а «незарегистрированных» «людей из избы вон высылати беспенно, для того чтоб в государстве в данном окладе мирским людем никому ни в чем никоторые порухи не было» (с. 284).

В-четвёртых. Выборные, как правило, оставались у дел в течение календарного года, в конце которого должны были отчитаться перед общиной (вернее, перед новым, например, целовальником и специально выбранными для этого крестьянами) в проделанной работе, за которую отвечали собственными средствами (с. 265). При этом община, со своей стороны, и сама отвечала за выборщиков и принимала ответственность за них перед государственной властью в лице воеводы. Такая сбалансированная система взаимных обязательств демонстрирует продуманность структуры самоуправления и долгий путь, пройденный ею до столь зрелых форм.

Здесь стоит вновь обратить внимание читателя на общий уровень культуры, в том числе юридической, северорусских крестьян и на великолепно развитую бюрократическую процедуру в деятельности выборных мирских администраторов (которую, казалось бы, трудно предположить в русской лесной глуши XVI–XVII вв.). Каждый шаг этих управленцев, начиная с выборов и заканчивая отчётом об отвезённых в уездный город или в Москву собранных деньгах, фиксировался письменно, каждый вид многочисленной номенклатуры документов имел строгий, отработанный во времени формуляр (обязательства, условия составления договора, подписи основных действующих лиц и свидетелей, обязательные расписки в получении денег со сборщиков и т.п.). При этом документы зачастую составлялись в двух экземплярах (матица и противень, т.е. оригинал и копия), с указанием имени писца и даты. Наиболее важные процедуры, такие как выборы, сопровождались принесением присяги (крестоцелованием) и тоже закреплялись «подкрестной» записью или «подкрестным» списком. Вообще же выборные лица имели свободу полномочий, делегированных им сходом, но в рамках, которые определялись «мирским советом» (с. 263, 269, 270, 273).

И, пожалуй, главная черта мирского самоуправления, основа, на которой держалось всё его здание, – самофинансирование, независимость в финансовом отношении от властей. На мирские деньги содержался двор с его аднинис-

трацией и необходимыми канцелярскими и хозяйственными принадлежностями; общинниками же оплачивались некоторые мирские службы. Например, служба выборного старосты оценивалась в 10 руб. в год «подможных», а всеуездному земскому старосте, который жил в своей деревне, для исполнения им общественных функций на общинные деньги в уездном городе нанимали жильё (с. 267–268).

Как уже отмечалось, выборные обязывались отчитаться перед общиной о своей работе и гарантировали выполнение порученного им дела своим имуществом, но и общинники принимали на себя обязательства оградить выборное лицо от покрытия общественных расходов. Например, ситуация в волости требовала незамедлительной выплаты большой денежной суммы, которой у старосты, целовальника или сотника не было. Под заклад своего имущества выборный мог взять взаймы требуемую сумму, но с совета мира, последний же в таком случае обязывался выкупить выборного из кабалы (с. 263).

Мирские администраторы, таким образом, не брали денег ни у воевод, ни у московских приказов, распоряжались средствами так, как считали нужным, и ни перед кем кроме своих же миров не отчитывались. Как это ни парадоксально, финансовая независимость (вкупе с выборностью местных управленцев) давала миру ту свободу, о которой не могли мечтать представители ни одного другого сословия России XVI–XVII вв. Конечно, на черносошных крестьян давил тяжкий груз государства (а на владельческих крестьян – и землевладельцев), требовавшего с них налоги, рекрутов, исполнения разнообразных повинностей. Но внутри своего мира, в котором они проводили почти всю свою жизнь, они сами каждый день жили по своему собственному, ими заведённому порядку, строили жизнь по-своему, и эта каждодневная, обыденная личная свобода формировала облик северорусского крестьянина XVI–XVII вв. и была основой возрождения России после Смуты и расцвета самобытного Русского государства в XVII в.

Что же давал крестьянам и государству в целом земский мир? Во-первых, невероятно тонко, филигранно отлаженный механизм экономического управления народным хозяйством (в масштабах всей страны, в том числе и у владельческих крестьян, в земельные разделы которых владелец чаще всего не вмешивался). Переделы земельных участков с их сложнейшей системой шкалирования ценности различных возделываемых земель и угодий, возможно, связывали инициативу наиболее предприимчивых хозяев, но, безусловно, предоставляли членам общины равные (не уравнительные, а справедливые) возможности для сельскохозяйственной деятельности и равные шансы на успех.

Во-вторых, мирское самоуправление давало столь же сложный, хрупкий, но реально действующий механизм поддержания социальной справедливости (в той форме, как её воспринимали крестьяне). «Разрубы» – «раскладки», «розмёты», развёрстывание государственных налогов и мирских платежей на каждое хозяйство волости – происходили несколько раз в год. И здесь ещё более скрупулёзно, чем при ежегодном разделе земель, учитывалась вся многомерность оценки крестьянского хозяйства (которое, действительно, могло сильно изменяться в течение года, хотя бы, например, из-за убыли кормильца или влияния стихийного бедствия): «Всякий живот, и деньги, и дворы, и лавки, и полянки, и пожни, и кузнь серебряная, и платье доброе и среднее, у кого что есть, и порядня медная, и железная, и деревянная добрая и средняя, что

мирскому приговору пригодится в счет положить», не говоря уже о численном и гендерном составе семьи, её обременённости долгами и займами. Нелишне отметить ещё одну «демократическую» черту «разрубов»: их производил не один целовальник или староста, а «коллегия» заседателей, в которую входили специально «кооптированные» из деревень крестьяне (с. 262, 282–285).

Ни одному государственному чиновнику, как бы близко он ни стоял к крестьянской общине, не было доступно столь глубокое проникновение в специфику земельных переделов с их многочисленными, далеко разбросанными полосками разнокачественной земли, семейных обстоятельств и личных и родственных взаимоотношений членов общины, как это происходило у самих крестьян. И, разумеется, ни одному стороннему человеку общинники не доверили бы оценку их налоговых возможностей и раздел тягла по дворохозяйствам. Повторимся также, что в XVI – начале XVIII в. государство и не обладало таким административным ресурсом, с помощью которого могло бы регулировать повседневную жизнь народа на самом нижнем уровне. Не стояло, собственно, и такой задачи: налоги выплачивались более или менее исправно, механизм их взимания был власти известен и не вызывал возражений. Государство не то что «не посягало на основы земской жизни», оно было кровно в них заинтересовано: переделы и «разрубы» регулировали землепользование и налогообложение, через него – экономическое состояние основных налогоплательщиков, а следовательно, и хозяйство всей страны (с. 290).

Разумеется, взаимодействие, причём очень плотное, между земским миром и государством имело место. И здесь Е.Н. Швейковская подметила ряд очень характерных черт этих взаимоотношений. Прежде всего земский мир, при всей его организационной и финансовой независимости, отделённости от государства, был, тем не менее, встроен в его структуру, причём встроен ненасильственно, непротиворечиво. Полноправным членом мирского схода являлся только крестьянин или посадский, дворохозяин, внесённый в окладные книги (что специально фиксировалось в приговоре схода), а значит, «промаркированный» государством, включённый в орбиту его деятельности. Крестоцелование земских управленцев при занятии ими должностей полностью вписывало их в мир служилых людей в широком смысле этого слова – как представителей государства, поскольку присягу (со специальными приписями для каждой должности) при вступлении в должность или при смене государя приносили должностные лица всей иерархической управленческой структуры, начиная с бояр. Наконец, вновь избранные и сдающие свои полномочия мирские люди обязаны были явиться к местным властям (черносошные – к воеводе, владельческие – к вотчинникам или вотчинным приказчикам). Этот визит не сопровождался какой-либо специальной церемонией введения в должность (например, присягой), но государство в лице воеводы (или вотчинник) как бы закрепляло легитимность земского мира, путём личного контакта сопрягая государственную (или владельческую) и земскую структуры управления (с. 229, 274–275).

Вся система культурно-правовых норм земского мира до последней чёрточки совпадала с административно-бюрократическими традициями государства. И трудно сказать, кто у кого заимствовал способы ведения дел, и заимствовал ли вообще. Скорее всего, единство процедур и терминологии по всей вертикали государства вело своё происхождение с незапамятных времён, нормы

были отшлифованы долгими годами практики и, в силу единой ментальности, однозначно воспринимались и правящими слоями, и народными низами. Так, например, неоднократно описанный бюрократизм, «крючкотворство» государственных администраторов, подьячих, был столь же привычен и обязателен в среде земских выборных. Как уже отмечалось, фиксировались процедура выборов, фактически – их протокол (и не в одном экземпляре), присяга-крестоцелование (крестоприводной и подкрестной записями), решения схода по тому или иному вопросу; целовальники обязательно выдавали крестьянам расписки в полученных платежах, равно как и всеуездный староста должен был «государевы данные и оброчные деньги собрав, отвезть к Москве, а к нам в мир привезть отпись полновая». В течение года старостами, земскими дьячками, целовальниками велись книги прихода и расхода, записей судебных тяжб, челобитных, отписей и росписей, заёмных кабал, черновые тетради, памятные записки и т.д. Таким образом, в земском мире существовало развитое, с выработанными формулярами делопроизводство, не уступающее государственному (с. 254–274, 281–287).

Кстати, в связи с приведёнными Е.Н. Швейковской данными о «мирской бюрократии» иначе воспринимается и такое ставшее нарицательным понятие, как «московская волокита». Автор анализирует историю многолетней борьбы двух крестьян за деревню, борьбы как физической, так и «бумажной». Среди прочего тяжущиеся стороны перечисляют убытки, понесённые в ходе этого противостояния, где в одном ряду с прочими стоит и «московская волокита»: убытки «в деревенской недопашке, и в сенной недоставке, и в усольской проесте, и в волоките нынешней московской»; «убытки в земляной недопашке, сенной потраве, в скотинном падежу, московских издержках», «кроме грабежу и увечья» (с. 218, 219). Таким образом, смысл употребляющегося ныне выражения значительно изменяется, возвращаясь к тому, как его воспринимали люди XVII в.: пребывание в далёкой Москве в судах (точно так же, как и в Усолье), естественно, требующее времени (везде и всегда), и, естественно, особенно затратное для иногороднего человека (за что, кстати, выигравшей стороне полагалась выплата проестей), почему московская «волокита» и выделена из всех прочих местных «волокит».

Как показывает исследование Е.Н. Швейковской, с государственной системой мирское самоуправление роднили также организация контроля за деятельностью управленцев и неразрывно связанная с ней смена администраторов – не важно, выборных или назначенных. Во-первых, управленцы в обеих системах занимали свои посты в большинстве случаев на довольно короткие сроки: городовые воеводы на два года, мирские старосты и целовальники – на год. Это не позволяло администраторам «насиживать» места, обзаводиться прочными связями с местным населением. При сдаче дел одним управленцем другому происходила скрупулёзная проверка принимаемого имущества и архива. Вновь назначенный воевода осматривал городские укрепления, артиллерию, пороховую казну, продовольственные запасы, документы приказной избы, делал смотр гарнизону, выявляя все недочёты и недостачи предшественника, чтобы не быть за них в ответе. Новый староста или целовальник также принимал хозяйство и архив земской избы у предшественника, который отчитывался, правда, не только перед преемником, но и перед всем миром, что абсолютно чётко прописывалось в выборных документах: «А ему, целовальнику, по своим приходным и расходным книгам и по отписем с нами,

крестьянами, честися вправду по государеву крестному целованью и прошлых целовальников земских» (с. 231, 265). Таким образом, и государственная, и земская системы держались на точно сбалансированных принципах доверия и контроля.

Что не менее показательно, и государственные, и земские власти использовали одинаковую терминологию. При перемене городовых воевод составлялся «росписной список» и воеводы «росписывались» друг с другом в передаче городового хозяйства. Это был устойчивый, конкретный термин. Точно так же крестьянский староста вологодской архиепископской домовой вотчины просил переменить его с должности, а новому старосте «домовые дела, и дворовое строение, и казенные семена и село Никольское с деревнями» у него «против росписных книг принять и во всем со мною росписаться» (с. 258). Городовые воеводы ежегодно по требованию Разрядного приказа составляли сметные списки, или сметные росписи, – подробное описание городовых укреплений, гарнизона, боевых и продовольственных запасов и, разумеется, городовой казны. Документы с таким же названием – сметные списки – фигурируют и при отчёте земских старост и целовальников о расходовании мирских средств; причём учитывались не только деньги, но и, например, необходимые для деятельности земской избы материалы: бумага, чернила, дрова для отопления, свечи (с. 287, 288).

Общим термином обозначалось в государственной и в земской практике и место, где заседали и решали дела власти. Если в московском приказе или городовой приказной избе подразделение всего учреждения называлось «столом», то помещение, являвшееся центром хозяйственного управления волостью, его делопроизводства, местом хранения мирской казны (зачастую это была трапезная волостной церкви) называлось «стольцем» – в понятном соотношении с «большим» столом государственных учреждений.

В работе Е.Н. Швейковской продемонстрирована ещё одна яркая черта, характеризовавшая русскую жизнь XVI–XVII вв., – государственный институт патроната, в данном случае применительно к земскому миру. Широко известны и давно описаны «столы», т.е. торжественные пиры, на которые царь или патриарх звали лишь приближённых им людей (практически всегда думных чинов) или тех, которым желали показать свою милость, пожаловать (например, к царскому столу могли пригласить служилого иноземца, воеводу, сеунщика, принесшего весть о победе)[8]. Столы устраивались по большим церковным праздникам или по случаю радостных событий в царской семье (именины, родины). Разумеется, смысл их был не в угощении как таковом, а в демонстрации расположения, особой милости со стороны государя, членов его семьи или патриарха к приглашённым, и – в демонстрации своей близости к власти, причастности к ней со стороны приглашённых, что поднимало их авторитет и в собственных глазах, и в обществе, служило своеобразным социальным маркёром. Точно такие же функции выполняло и жалование царём, царицей, реже – царевичами и царевнами – пирогами и «питиями».

Богатые и разнообразные материалы, приведённые Е.Н. Швейковской, показывают, как действовал тот же механизм на провинциальном уровне, когда «мирские должностные лица многократно в течение года приглашались во двор к воеводе “хлеба ясти”». Во-первых, воевода угощал новоизбранных

[8] *Новохатко О.В.* Записные книги Московского стола Разрядного приказа в XVII в. М., 2000. С. 197.

земских должностных лиц и мирских людей. Очевидно, это совпадало и с празднованием новолетия 1 сентября, когда в уездный город съезжались земские представители из ближних и дальних волостей. После того, как вновь избранные земские власти подносили воеводе угощение, «звал воевода хлеб есть всех мирских людей». Во-вторых, в воеводском доме угощали в дни именин членов царской семьи. Например, в марте 1667 г. мирские люди «хлеба ели» у воеводы Устюга в честь именин царевны Евдокии Алексеевны, а 19 сентября 1670 г. у воеводы того же города собирался «стол» «для имянинницы благоверные царевны и великие княжны Софьи Алексеевны». Царская церемония была скопирована городовыми воеводами и в отношении собственного семейства: в дни своих семейных праздников воевода угощал мирских людей. Так, в октябре 1675 г. на именины сначала сольвычегодского воеводы, а потом его жены были званы мирские люди «хлеба есть». Звали земских выборных и на новоселье, например, «в новой избе» воеводы Сольвычегодска староста «хлеб ел». Поводом мог послужить даже приезд или отъезд родственника воеводы: по прибытии воеводского зятя в Тотьму «звал воевода хлеба ести мирских людей», а сестра воеводы, подобно царевне, «выходила с чаркою»; при отъезде из Сольвычегодска пасынка воеводы «людям ево» (как, очевидно, и ему самому) староста на прощанье дал почесть деньгами (с. 229–231, 234, 300, 301, 309, 311, 319).

Е.Н. Швейковская приводит интересные данные о том, что мирских людей приглашали на семейные праздники и людей воеводы, его челядь, причём событие отмечалось на воеводском дворе. Так, в апреле 1674 г. женился «человек» сольвычегодского воеводы, и на торжество были званы староста с целовальниками и «с посыльщиком Петром», которые «у воеводы на свадьбе хлеба ели». В том же году староста был приглашён на родины и крестины дворецкого того же воеводы, а целовальники – также на родины и крестины воеводского человека. В 1691 г. женились дворовые люди тотемского воеводы, и на свадьбы во двор к воеводе были приглашены мирские люди (с. 320, 322). Значение челяди при любом должностном лице известно, эти люди были прочно встроены в иерархию воеводской администрации, поэтому угощение не только воеводой, но и челядью мирских людей и присутствие последних на «столах», устраиваемых воеводским окружением, совершенно вписывается в общенародную систему покровительства и «держальничества».

Исследование Е.Н. Швейковской позволяет также несколько скорректировать взгляд на такое «одиозное» явление, как кормление земским миром воевод и их административного аппарата. В историографии давно принято объяснять это архаичностью управленческой системы, рудиментом системы кормлений. Отчасти это, наверное, так, но никакая архаика не удержится без живой подпитки. Как ещё раз подтвердила в своей работе Швейковская, земский мир финансировал себя сам, т.е. община оплачивала работу выборных людей, фактически нанимая их, о чём свидетельствует и сама лексика выборных документов. В монографии приведены примеры подобных формул: «А найму ему, целовальнику, миром рядили во весь год шесть рублей денег, и те наемныя деньги ему, целовальнику, взять, и дьячку, и приставу из наших мирских денег»; «А подмоги ему, выборному нашему старосте, по нашему, мирских людей, приговору взять на год против прежнего из миру с стола десять рублев»; вотчинный староста Спасо-Прилуцкого монастыря взял «годовые своей работы подможных денег десять рублев». Так же из мирских средств оплачивалась

работа земского «канцеляриста»: земский дьячок получал «от мирских дел и от всеземских приходных и росходных книг от письма за работу» годовую плату в 10 руб. (с. 267).

Кстати, годовой оклад в 6–10 руб., который, судя по приведённым Е.Н. Швейковской материалам, был утверждён по неписанным правилам мира, для управленцев XVII в. являлся довольно большим. Например, годовой оклад в 10 руб. получали в одном из главных управленческих ведомств страны – Разрядном приказе – подьячие средней статьи, можно сказать, ведущие специалисты относительно высокого ранга. По расчётам, сделанным Н.В. Устюговым, в Зырянских усольях «прожиточный минимум одинокого работного человека составлял от 3 руб. 65 коп. до 4 руб. 63 коп. в год»[9] (в сумму входит и питание, и приобретение самой необходимой одежды). Но даже если выборный не получал вознаграждения собственно за работу, все условия его работы оплачивались миром обязательно (канцелярские принадлежности, освещение, отопление земской избы, наём жилья в уездном центре и дорога до него и т.п.).

Ровно так же население воспринимало государственных делопроизводителей и управленцев всех уровней, главным образом подьячих – площадных, городовой приказной избы, московского приказа, но и некоторых других чинов, например, приставов приказной избы (с. 237, 294). Все эти категории делопроизводителей и администраторов «кормились от дел», даже если им полагался денежный оклад. Такая ситуация в России XVII в. была обусловлена устройством всей государственной системы: при малочисленности управленческого аппарата, скудости наличных денежных средств в казне и бескрайности управляемых территорий государство вынужденно переложило содержание администрации на общество, причём не путём перераспределения средств через собранные налоги, а напрямую, оплатой «сдельной» работы чиновников. Учитывая практику содержания мирского самоуправления и построение общегосударственной административной системы, трудно удивляться тому, что местное население смотрело и на воевод как на ещё один «объект» кормления, с которым приходилось мириться, но что совершенно не воспринималось из ряда вон выходящим явлением. Разумеется, в данном случае не было столь прямолинейной зависимости от функций, исполняемых воеводой (например, судебных) и оплатой их миром, но общее понимание того, что управляющих надо содержать, работало и здесь.

Лучше всего об этом свидетельствуют замечательные источники, так полно и подробно проанализированные в монографии Е.Н. Швейковской – книги целовальников денежного сбора, расходные книги черносошных миров и вотчинных старост Спасо-Прилуцкого монастыря, в которых отдельной частью входили записи о расходах на воеводу «всякою харчью и деньгами к столам». Следует отметить, что подобные же книги расходов на «администраторов» в обязательном порядке велись монастырскими стряпчими и вотчинными приказчиками, которые занимались делами своих господ в приказах. «Издержечные» книги земских старост, исследованные Швейковской, характеризуют скрупулёзность, педантичную точность записей расходов на городовую администрацию. В них фиксировалась не только дата приношения, но и день недели, не говоря уже о точном исчислении принесённых воеводе денег и продуктов, а также сумм, уплаченных за приобретение последних (с. 230–236).

---

[9] *Устюгов Н.В.* Солеваренная промышленность Соли Камской в XVII в. М., 1957. С. 236.

Выше уже отмечалось, что не только родственники воеводы, но и воеводские дворовые люди были весомыми лицами в жизни уезда. Они выступали посредниками между воеводой и его подчинёнными, от их расположения зависела благосклонность воеводы, а значит, и решения по судебным делам или челобитьям мирских людей. Поэтому в расходных книгах столь же тщательно отмечались все подношения этим лицам. Автор приводит интересный факт, свидетельствующий о том, что для подарков окружению воеводы (как членам семьи, так и челяди) существовал установленный обычаем довольно твёрдый тариф, точно оценивавший социальный вес данного лица, его статус в иерархии воеводского двора: из членов семьи – жена, старшие и младшие сыновья, дочери, племянники; из слуг – держальники, дворецкий, конюший, «клюшник», жильцы, люди. В тех случаях, когда «тариф» нарушался, ответственный перед миром за каждую полушку целовальник или староста считал необходимым указать причину «сбоя». Так, устюжский воевода Я.А. Змеев «вытянул» у шемогодского целовальника праздничную почесть своей жене, равную той, что поднесли ему. По обычаю же подношение жене воеводы было, как минимум, вдвое меньшим, поэтому целовальник сделал к записи в расходной книге примечание: «Потому что он сам, стольник, взял на нее-челобитьем в доброту», недвусмысленно указывая на лицемерие воеводы (с. 298–302, 304, 314, 321–323).

Открытое, «официальное» ведение «издержечных» книг свидетельствует о легитимности «почестей» в сознании населения. Само название этого документа подтверждает это: «Книга расходная... нынешняго... году... что держано воеводе (имярек) и подьячему». Более того, в конце срока полномочий старосты или целовальника воевода сам ревизовал эти книги, чтобы выяснить, «нет ли к каким статьям приписок» (с. 233, 295). С одной стороны, приписки могли повредить земскому выборному, но с другой, и воевода был заинтересован в том, чтобы за ним не записали чего-нибудь лишнего. Не стоит забывать, что земский выборный отчитывался в расходах прежде всего перед общиной, и таким образом кормление воеводы жёстко контролировалось и сверху, и снизу.

Конечно, грань между «почестью» и «посулом», т.е. взяткой, была зыбкой, и практика прямого содержания администрации совершенно не исключала незаконных путей вознаграждения управленцев за более благосклонное отношение к управляемым – за решение в свою пользу конкретного дела и «впрок». Однако изложенные в работе Е.Н. Швейковской данные однозначно свидетельствуют о том, что кормление воеводы земским миром, во-первых, воспринималось обеими сторонами как абсолютно легитимное, во-вторых, что оно являлось неотъемлемой частью общегосударственной и общенародной системы управления, и, в-третьих, что такой способ прямого содержания управленческого аппарата имел свои положительные стороны: это был дифференцированный налог, при котором управляемые точно знали, кому, сколько и за что они платят. Население видело, во что обходится им администрация, как государственная, так и земская, а потому, испытывая уважение и, может быть, даже трепет перед ними, знало им цену в буквальном смысле этого слова.

В выстраивании власти на любом уровне – государственном или земском, в характере взаимодействия с нею народа присутствовала общая культурно-правовая традиция, выросшая из национальной почвы и воплощавшаяся людьми одного менталитета. Эти традиции устроения службы оказались сильнее кон-

кретных учреждений, сменявших друг друга в центре и на местах (как, например, воеводы сменили кормленщиков), и именно этим традициям во многом обязано государство своим возрождением после Смуты.

Завершая обзор монографии, нельзя не отметить новаторских методик Е.Н. Швейковской как в общем подходе к материалу, так и в работе с источниками. Своей задачей исследовательница поставила создание истории крестьян Русского Севера как составной части единого общества, «единого организма с взаимодействием всех его составляющих, находящихся в сложной системе разнонаправленных связей» (с. 8), а это прежде всего взаимоотношения конкретных людей в самых разных сферах частной и общественной жизни. Поставленная задача определила и один из главных подходов к изучению материала – исследование крестьянского мира на микроуровне, с анализом самых «тонких», межличностных связей внутри самого мира и мира с другими социальными стратами. Естественно, что подобный подход потребовал привлечения к исследованию методик и данных смежных дисциплин – исторической географии, языкознания, ономастики, топонимики, генеалогии. Чрезвычайно широк круг использованных автором источников – от законодательных актов XVI – начала XVIII в. до крестьянских челобитных. Очень эффективным оказалось сопоставление источников разных видовых групп, например, писцового делопроизводства с актами крестьянских поземельных сделок, а также тщательное, вдумчивое прочтение расходных книг земских миров. Только благодаря работе на стыке нескольких дисциплин, благодаря скрупулёзному сопоставлению данных из разных источников автору удавалось распутывать сложнейшие «клубки» историй взаимодействия земского мира с местными органами государственной власти, отдельных крестьянских династий, поселений, а через них проникнуть в логику землепользования, землевладения, выявить главные движущие силы крестьянской жизни. Поэтому перед нами не история повседневности в узком понимании этого слова, не бытописание, а системно и глубоко исследованная и столь же системно изложенная картина жизни одной из важных категорий русского населения XVII в. – северорусских, главным образом черносошных, а также монастырских крестьян. К сожалению, журнальные рамки не дают возможности рассказать о многих других сторонах бездонного и бескрайнего крестьянского мира Русского Севера, который представлен в книге Е.Н. Швейковской.

Многие, прочитавшие этот отзыв, со скептицизмом заметят, что уж слишком положительный образ русского крестьянина и его деятельности складывается после знакомства с рецензируемой книгой. Однако, во-первых, работа Е.Н. Швейковской вообще не богата оценочными суждениями (и в этом можно даже найти некоторый минус монографии): в ней только факты, огромное количество фактов, взятых из источников, опубликованных и вновь открытых автором в архивах, которые каждый сомневающийся может сам проверить по ссылкам. Поэтому выводы, к которым приходит читатель, складываются из материала, объективно и беспристрастно представленного в исследовании. Во-вторых, новаторские, яркие книги тем и отличаются от научной литературы средней руки, что, пусть в отдельной области, переворачивают наши знания об известном предмете, заставляют по-новому взглянуть на него. В-третьих, и дилетанту, и даже специалисту чрезвычайно вредит внедрившийся в сознание образ русского народа, пришибленного тяжёлой дланью государства, а пото-

му ни к чему не способного, ленивого, пьющего, инфантильно надеющегося в лучшем случае на царя, в худшем – на помещика («вот приедет барин, барин нас рассудит»). Перед читателем же является почти незнакомый мир. Это, разумеется, не рай на земле. Здесь, как и везде, трудно, тяжко добывается хлеб, далеко не просто складываются отношения с государством, точнее, с его аппаратом, и нет такого человека, который бы «любил государство». Однако реальная, воплощённая жизнь, предстающая на страницах книги Е.Н. Швейковской, поражает именно теми возможностями, о которых так много уже сказано и ещё больше говорится сейчас (в особенно модном тренде альтернативной истории) – о России, не тронутой крепостничеством, о крестьянине и посадском с собственной землёй и самоуправлением.

Выходит, необходимо расширять кругозор и включать в научные построения новые конструкции, корректирующие наше представление о прошлом, а следовательно, и настоящем.